



А. И. ГЕРЦЕН

Старый мир и Россия. Письма к В. Линтону (Письмо второе)

Любезный Линтон!

Формула европейской жизни гораздо сложнее формулы жизни древнего мира.

Когда греческая культура вышла из тесных границ городов-республик, ее политические формы сразу истощились и иссякли с чрезвычайной быстротой. Греция обратилась в римскую провинцию.

Когда Рим исчерпал запасы своей организующей силы и перерос свои политические учреждения, у него не нашлось больше возможностей для возрождения, и он распался, вступив с разными сочетания с варварскими народами.

Дрогшие государства не были долголетними; они существовали не более одного сезона.

В XV столетии Европа пережила такой катаклизм, который для древних государств был бы предвестником неминуемой смерти. Совесть и разум восстали против основ общественного здания. Католицизм и феодализм подверглись нападению. Глухая борьба длилась более двух столетий... Она подрывала церковь и замок.

Европа была так близка к смерти, что уже у границ ее стали показываться варвары, эти вороны, чующие издали агонию народов.

Византией они завладели, казалось, они готовились уже ринуться на Вену; но полумесяцу пришлось остановиться на берегах Адриатического моря.

На севере зашевелился другой варварский народ, он сплачивался, готовился, — народ в бараньих шкурах и с «глазами яще-

рицы». Степи Волги и Урала во все времена служили кочевьем переселяющимся народам; это были залы ожидания и собраний, officina gentium¹, где судьба готовила в тиши дикие орды, чтобы бросить их на народы, обреченные смерти, чтобы прикончить цивилизации, впавшие в маразм.

И все же луна ислама выше не поднялась и удовольствовалась тем, что озаряет развалины Акрополиса и воды Геллеспонта². А волжские варвары, вместо попытки вторгнуться в Европу, обратились в конце концов в лице одного из своих царей³ к соседям за цивилизацией и государственным устройством.

Первая грозная туча пронеслась над головой.

Что же случилось?

Вечное переселение народов на запад, задерживавшееся Атлантическим океаном, продолжалось, человечество нашло проводника — Христофор Колумб⁴ показал дорогу.

Америка спасла Европу.

И Европа вступила в новую фазу существования, незнакомую древним государствам, фазу внутреннего разложения по эту сторону и фазу развития по ту сторону океана.

Реформация и революция не перешагнули ни за стены церкви, ни за пределы монархических государств; очевидно, они не могли сокрушить древнее здание. Готический собор осел, трон пошатнулся, но развалины их сохранились. И ни реформация, ни революция не могли больше ничего с ними поделать.

Называется ли человек кальвинистом, евангелистом, лютеранином, протестантом, квакером⁵ — церковь все же существует, другими словами — свобода совести не существует, или же это акт индивидуального возмущения. Будет ли правление парламентским, конституционным, с двумя палатами или с одной, при ограниченном избирательном праве или при всеобщем голосовании... трон шатается, но все же существует, и хотя короли то и дело летят кувырком, на их место находятся другие. За неимением короля в республике, — если дело происходит во Франции, — его заменяют соломенным королем, которого сажают на трон и для которого сохраняются дворцы и парки, Тюльери и Сен-Клу⁶.

Светское и рационалистическое христианство борется с церковью, не понимая того, что оно первое будет раздавлено церковными сводами; монархический республиканизм борется с тронном, чтобы усесться на него по-царски. Дыхание революции веет не здесь; поток переменял направление, предоставив

старым Монтекки и Капулетти⁷ продолжать на втором плане их наследственную вражду. Знамя борьбы поднимается уже не против священника и не против короля, не против дворянина, а против их единственного наследника — против хозяина, против патентованного владельца орудий труда. Революционер теперь уже не гугенот, не протестант, не либерал; имя ему — работник.

И вот Европа, пережившая вторую, даже третью молодость, останавливается у нового порога, не смея его перешагнуть. Она трепещет перед словом «социализм», написанным на двери. Ей сказали, что дверь эту отворит Каталина, и это правда. Дверь может остаться закрытой, но открыть ее дано только Каталине... Каталине, у которого столько друзей, что невозможно их всех передуть в темнице. Цицерон, этот добросовестный и учтивый убийца, был счастливее своего соперника Каваньяка⁸.

Эту черту перейти труднее, чем другие. Все реформы наполовину сохраняют старый мир, набросив на него новый покров; сердце не совсем разбито, не все потеряно сразу; часть того, что мы любили, что было нам дорого с детства, что мы почитали, что освящено преданием, — остается на утешение слабым... Прощайте, песни кормилицы, прощайте, воспоминания отчего дома, прощай, привычка, власть которой сильнее власти гения, — говорит Бэкон⁹.

...Во время бури ничто не проникает через таможню, а хватит ли терпения дожидаться затишья?

Все интересы, заботы, осложнения, стремления, волновавшие в продолжение целого века европейские умы, мало-помалу бледнеют, становятся безразличными, делом привычки, вопросами партий. Где великие слова, потрясавшие сердца и исторгавшие слезы!.. Где священные знамена, которым со времени Яна Гуса поклонялись в одном стане, с 89 года — в другом? С тех пор как непроницаемый туман, окутывавший Февральскую революцию, рассеялся, все начинает проясниться, резкая простота заменила путаницу; существуют только два подлинно важных вопроса:

вопрос социальный,

вопрос русский.

И, в сущности, эти два вопроса сводятся к одному.

Русский вопрос — случайное явление, отрицательный опыт. Это новое пришествие варваров, чующих агонию, возвещающих старому миру “memento mori”¹⁰, предлагающих ему убийцу, если он не желает покончить с собой.

В самом деле, если революционный социализм не в состоянии будет доконать вырождающийся общественный строй, его доконает Россия.

Я не говорю, что это необходимо, но это возможно.

Нет ничего абсолютно необходимого. Будущее не бывает неотвратно предрешиено; неминуемого предназначения нет. Будущее может и вовсе не наступить. Геологический катаклизм вполне может уничтожить не только восточный вопрос, но и все прочие, — за отсутствием задающих вопросы.

Будущее слагается из элементов, имеющихя под рукой, из окружающих условий; оно продолжает прошедшее; общие устремления, смутно выраженные, изменяются в зависимости от обстоятельств. Обстоятельства решают, как это произойдет, и неясная возможность становится совершившимся фактом. Россия точно так же может овладеть Европою до Атлантического океана, как и подвергнуться европейскому нашествию до Урала.

В первом случае Европа должна быть разрозненной.

Во втором — тесно сплоченной.

Сплочена ли она?

Царизм движим чувством самосохранения и тем инстинктом, который служит путеводителем перелетным птицам, устремляющимся к Черному или Средиземному морю. На этом пути царизм не может не встретиться с Европой.

Безумием было бы воображать, что император Николай может противостоять всей Европе, если только Европа сама не станет авангардом армии Николая, с тем чтобы сражаться против самой себя; но так оно и есть, это именно и происходит.

В случае столкновения Европы с Россией консерватизм, боязливый, встревоженный, дряхлый, найдет средства парализовать всякое народное воодушевление.

Ибо есть две Европы, которые относятся друг к другу с отвращением, с ненавистью, гораздо более сильной, нежели взаимная ненависть турок и русских, и этот общественный манихеизм¹¹ существует во всяком государстве, во всяком городе, во всякой деревне. Какого же единства в действиях можно ожидать до окончательной победы одного из противников? Войска героически сражаются на рубежах страны, только когда дома есть Комитет общественного спасения¹².

Именно он вселил в войска революции ту удивительную энергию, которая после его гибели продержалась еще двадцать лет.

Ничто так не подавляет дух армии, как зловещая мысль, что за спиной готовится измена. А можно ли доверять правительствам, ныне существующим? В своем собственном лагере люди порядка подозревают друг друга.

Повсюду, вплоть до высших дипломатических сфер, есть изменники, продающие свою страну Николаю.

Николаю служат не только банкиры и журналисты, но и первые министры, королевские братья, царствующая родня. У него большой запас великих княжон, которых он жалует немецким князьям с условием, чтобы они из своих мужей делали слуг русского царя; когда же эти великие княжны хворают, их посылают пользоваться «лондонскими туманами», целебная сила которых открыта Николаем.

"La Fusion" — сугубо русская газета, "L'Assemblée Nationale"¹³ — как будто печатается в Казани или в Пензе. Но если бы император Николай предоставил всех этих Шамбор-Немуров¹⁴ сладостям семейных примирений и охоты во Фрошдорфе, бонапартизм тотчас бы сделался не только русским, но татарским.

Бельгийский король содержит в Брюсселе русское агентство: король Дании — маленькую контору в Копенгагене. Адмиралтейство, гордое адмиралтейство Великобритании, смиренно несет для царя полицейскую службу в Портсмуте, и самоедский офицер безнаказанно топчет ногами акт Habeas Corpus на палубе английского корабля¹⁵. Король неаполитанский рабски подражает Николаю, а австрийский император — его Антиной, его страстный поклонник¹⁶.

Много толкуют о русских агентах, подозревая всегда каких-нибудь жалких шпионов, которых русское правительство оплачивает, чтобы быть в курсе всевозможных *сплетен*. Настоящие Шеню и Делагоды царя — это помазанники божий, их *agnates*¹⁸ и *cognates*¹⁹, вся их родня по восходящей и нисходящей линии. Самый полный реестр русских шпионов — это *Готский календарь*²⁰.

Вы видите, что настоящая борьба с Россией совершенно невозможна, покамест не выметут, да не выметут начисто ваш дом.

Роковая солидарность соединяет реакционную Европу с царизмом; и если она погибнет от руки царизма, это будет великолепной иронией судьбы.

Николай объявил войну Турции — это самая замечательная шалость XIX столетия²¹.

Теперь консерваторы, друзья, клиенты Николая, громче всех вопиют против него. Они принимали царя за полицейского и охотно стращали революционеров 400 000 русских штыков. Они думали, что он удовлетворится пассивной ролью пугала; они позабыли, что даже Луи-Бонапарт — и тот не пожелал довольствоваться должностью «пожарного сапера» ...

Счастливые дни воротились; все были так довольны, так покойны; массы, раздавленные войсками, с христианской кротостью умирали от голода. Ни печати, ни трибуны... ни Франции! Святой отец, опираясь на армию, вышедшую из улицы Jerusalem, раздавал направо и налево свое апостольское благословение. Дела после февральской катастрофы шли опять своим порядком. Социальное людоедство больше чем когда-либо было в ходу. Настала эра любви и симпатии. Бельгия сочеталась браком с Австрией в лице австрийской эрцгерцогини; молодой венский император вздыхал у ног своей невесты; Наполеон III, 45-летний Вертер, соединялся по любовному капризу с своей Шарлоттой Теба²².

Вдруг, среди всеобщего спокойствия, всемирного благоденствия, император Николай бьет тревогу, начиная войну бесполезную, фантастическую, религиозную, — войну, которая легко может перенестись с берегов Черного моря на берега Рейна и которая, во всяком случае, повлечет за собой все то, чем так пугали революции: отчуждение собственности, контрибуции, насилие и, сверх того, неприятельское нашествие, военные суды, расстрелы и военные контрибуции.

Донозо Кортес в знаменитой речи, произнесенной в Мадриде в 1849 году²³, предсказывал вторжение русских в Европу и видел для *цивилизации* якорь спасения только в *единстве* власти, т.е. в неограниченной монархии, служащей целям католицизма. Первым условием для этого он также считал введение католицизма в Англии.

Может быть, *подобное единство* чрезвычайно усилило бы Европу, но это единство совершенно невозможно, — невозможно, как и все прочие, за исключением *единства революционного*.

Если бы революции не боялись еще более, нежели русских, то чего проще, как идти на Севастополь, захватить Одессу. Магомётанское население Крыма не было бы враждебно туркам. Попав туда, можно было бы обратиться с призывом к Польше, дать свободу крестьянам Малороссии, ненавидящим крепостное

право ... Хотел бы я знать, что бы сделал тогда Николай со своим православным богом?

«Но ведь Польша — это Галиция», — скажет Австрия.

«Но ведь Польша — это Познань», — скажет Пруссия.

А если Польша восстанет, как удержать Венгрию, Ломбардию?

Ну, так не нужно идти на Севастополь; разве что объявить войну для виду, — войну, которая окончится в пользу Николая или Луи Бонапарта, т.е. в обоих случаях в пользу *деспотизма* и против *консерваторов*.

Деспотизм вовсе не консервативен. Не консервативен он даже в России. Нет ничего более разъедающего, разлагающего, тлетворного, чем деспотизм. Случается иногда, что юные народы в поисках общественного устройства начинают с деспотизма, проходят через него, пользуются им как суровой школой; но чаще под игом деспотизма изнемогают народы, впавшие в детство.

Если военный деспотизм, алжирский или кавказский, бонапартистский или казачий, овладеет Европой, то он непременно будет вовлечен в жестокую войну со старым обществом; он не сможет допустить существования полусвободных учреждений, полунезависимого правопорядка, цивилизации, привыкшей к вольной речи, науки, привыкшей к исследованию, промышленности, становящейся великой силой.

Деспотизм — это варварство, погребение дряхлой цивилизации, а иногда ясли, в которых рождается *спаситель*.

Европейский мир в той форме, в которой он теперь существует, выполнил свое назначение; но нам кажется, что он мог бы почетнее окончить свое поприще, переменить форму существования, — не без потрясений, но без падения, без унижения. Консерваторы, как все скупцы, больше всего боятся *наследника*. Так вот — старца задушат ночью воры и разбойники.

После бомбардировки Парижа, после того как расстреливали, ссылали, заточали в тюрьмы работников, вообразили, что опасность миновала! Но смерть — Протей²⁴. Ее изгоняют как ангела будущего, она возвращается призраком прошедшего; ее изгоняют как республику демократическую и социальную, она возвращается Николаем, царем всея Руси, или Наполеоном, царем французским.

Тот или другой или оба вместе окончат борьбу.

Для борьбы нужен противник, еще не поверженный в прах. Где же последняя арена, последнее укрепление, за которым цивили-

лизация может вступить в бой или по крайней мере защищаться против деспотов?

В Париже? — Нет.

Как Карл V, Париж еще при жизни отрекся от своей революционной короны²⁵; немного военной славы и множество полицейских — этого достаточно, чтобы сохранить порядок в Париже.

Арена — в Лондоне.

Пока существует Англия, свободная и гордая своими правами, дело варваров нельзя еще считать окончательно выигранным.

С 10 декабря 1848 года Россия и Австрия перестали ненавидеть Париж²⁶. Париж потерял в глазах королей свое значение; они его больше не боятся. Вся их злоба обратилась против Англии. Они ее ненавидят, питают к ней отвращение и хотели бы... ограбить ее!

В Европе есть государства реакционные, но нет консервативных. Одна лишь Англия консервативна, и понятно *почему*; ей есть что хранить — *личную свободу*.

Одно это слово совмещает в себе все то, что преследуют, ненавидят Бонапарты и Николаи.

И вы думаете, что они, победив, оставят в двенадцати часах езды от Парижа *порабощенного* Лондон *свободный*, Лондон — очаг пропаганды, гавань, открытую всем бегущим из опустошенных, испепеленных городов континента? Ведь все, что должно и может быть спасено среди оргии разрушения — наука и искусство, промышленность и образование, — все это неизбежно устремится в Англию.

Этого достаточно для войны.

Наконец-то осуществится мечта Наполеона, первого варвара нового времени.

Не от революционной Европы, не от европейского деспотизма может Англия ожидать величайшие бедствия. У народов слишком много дела дома, чтоб они могли думать о захвате других стран.

Не эгоизм, не жадность мешают англичанам в этом разобраться. Скажем прямо: из-за невежества и проклятой деловой рутины эти люди не способны понять, что следует иногда, избегая проторенных путей, прокладывать новую дорогу.

Что же! Те, которые, имея глаза, не хотят смотреть, посвящены богам ада. Как их спасти?

Глубокая и безмолвная ночь скроет процесс разложения.

А после?.. После ночи наступает день!

Совершившиеся несчастья должно оплакать... Но оставим мертвым погребать своих мертвецов; и, с состраданием, с уважением накрыв гробовым саваном агонизирующее тело, найдем в себе мужество повторить старый возглас:

Король умер — да здравствует король!..²⁷

Лондон, 17 февраля 1854

